

Из истории русской философской мысли

Ирина РОДНЯНСКАЯ

Сергей Николаевич БУЛГАКОВ



А. Ф. Лосев, П. А. Флоренский, В. С. Соловьев, Л. П. Карсавин, К. Н. Леонтьев, Е. Н. Трубецкой, В. В. Розанов, Н. А. Бердяев — эта галерея русских философов, которая выстроилась в нашей газете (26 октября, 30 ноября 1988 г., 18 января, 22 февраля, 5 апреля, 24 мая, 30 июня, 2 августа с. г.), сегодня пополняется портретом Сергея Николаевича Булгакова. Выдающегося мыслителя, богослова, экономиста, общественного деятеля представляет Ирина Роднянская — критик, литературовед, автор ряда энциклопедических статей о русских философах.

Литография Юрия СЕЛВЕРСТОВА

В ОТ ЕЩЕ один из «сей стаи славы». Сегодня, может быть, как никогда, нужный отечеству и миру. Потому что мысли его были обращены к исторической трагедии человечества, которая, он предвидел, становится трагедией всего земного бытия, всего мирового состава: и культуры, и подминаемой ею природы. Он не пытался трагедию эту, ближайшим образом рожденную, как он считал, коренными надломами «новевропейской» цивилизации, схематически сгладить и утопически закруглить: нет, он всегда чувствовал ее жало. Но в годы международных и гражданских кровопролитий, геноцидов и депортаций он упорно свидетельствовал, что видит свет в конце туннеля, что «мир не может вовсе не утратиться», что «Бог создал мир наверняка...», что «земная история есть не разложение... но творчество», что нужно «мужественно и до конца претерпеть историю, ибо она есть и воцарение Христа» (последние слова — предсмертный завет, прозвучавший из мрака второй мировой войны).

Странное дело: мыслитель, для которого трагедия была основной категорией человеческого бытия и высшим проявлением искусства, который всегда мучился поиском истины и каждое свое слово переживал в ночных бессонницах так, что готов был держаться за него ответ на Страшном суде, мыслитель этот заглядывался современниками в безстрастности, «профессорстве», кабинетной «меланхолической» «в душевной складке его есть черта опасная: отсутствие всякой внутренней трагедии, чрезмерное умственное благополучие...» — это писал о нем Д. С. Мережковский в 1906 году. И тогда же о том же — Л. И. Шестов: «Иногда в кресте, не пил уксус, смешанный с желчью; Булгаков «стал выговаривать слово Христос» тем же тоном, которым прежде произносил слово Маркс». А Булгаков на своем пути — «от марксизма к идеализму» (так он сам обозначил его вектор) и затем в Церковь — к этому времени претерпел, по его позднейшим воспоминаниям, «мрачную герценовскую резниацию», подлинное экзистенциальное отчаяние... В 1913 году видный тогда литературный эссеист А. Закревский снова попрекает Булгакова «спокойной, кабинетной верой профессора политической экономии». А за спиной у того уже была пережитая как величайшее духовное потрясение смерть любимого малолетнего сына Ивашки: «О мой светлый, мой белый мальчик! Когда несли мы тебя на крутую гору, и затем по знойной и пыльной дороге... за неожиданным поворотом сразу глянула на нас своими цветными стеклами ждущая тебя, как ты прекрасная, церковная мать твою упала с криком: «небо раскрылось». Она думала, что умирает и видит небо... И небо было раскрыто, в нем совершался наш апокалипсис».

Несколько позднее, в 1915 году, одна корреспондентка В. В. Розанова пишет ему о своих впечатлениях от встречи с Булгаковым: «Он очень славный, даровитый, обыкновенный русский человек. <...> У Булгакова <...> нет своего яркого «я». Горя у него не было; в этом Вы правы; оттого он чересчур «здоров», «здорово мыслящий». Да и адресат ее полагал: «...При великоличном пользе есть что-то сухое и «не нашеское» в нем» (то есть в Сергее Николаевиче). А в это время Булгаков, страдавший тревогой за судьбу предвоенной России, которая, согласно его свидетельству, «экономически росла стихийно и стремительно, духовно разлагалась», писавший тому же Розанову: «Чем больше живу, тем больше ноет, болит душа за Россию: устоит ли? не загнет ли от всех ядов, которыми она развлеклась» — с известием о первой мировой войне заплыла шатовской мессинской страстью: «Под ударами вражеского меча празднуюм мы светлый праздник государственности»; «Никогда Родина не переживала такого брачного часа...»; «Запад уже сказал все, что имел сказать <...>. Теперь Россия призвана вести европейские народы». Запал на тем, чтобы несколько лет спустя испытать мучу несбытшихся надежд («Прогнозируемое ныне есть как бы негатив русского позитива...») и в 1918 году устами бегущих из диалогов «На пути божья» произнес пророческие для XX века слова: «...Всплывает время, когда все почувствуют себя в большей или меньшей степени бегущими». Это было настоящее истязание любящей души пламенем и льдом. Булгаков его выдержал, не соблазнившись о России, не возвратив «почтительнейшее» билет Творцу, как герой Достоевского, предмет ранних булгаковских размышлений о смысле прогресса (статья-лекция «Иван Карамазов как философский тип», 1901). Но горя, но боли хватало — и на родине, и в изгнании: расширенного до мировой скорби горя глубокой души. Просто оно всегда притуплялось, лишалося ярких, кричащих тонов, стывало отступало в авансцену, проведённое сквозь благодать надежды: «мир не может не утратиться»; «мир во зле лежит, но не есть зло».

«ОБЫКНОВЕННОСТЬ» Булгакова — на фоне культурной эпохи 1900—1914 годов с ее экспериментами в области духа и морали, заглядываниями в «обе бездны» — едва ли не гениальность. Подкрепленная могучим умом, проработавшим с терпеливой студенческой добросовестностью все системы европейской, древней и новой, мысли и не потерявшим при этом обычных ориентиров, — такая обыкновенность уже может быть посчитана гениальностью без оговорок. Во всяком случае, эта «обыкновенность» «даровитого русского человека» высокоопозитивна и сродни воздуху тех мест, где Булгаков родился (городок Ливны Орловской губернии) и которые ощущал своим скрывшимся под водрами времени Китежем: «То, что я любил и чтить больше всего в жизни своей, — некричащую благородную скромность и правду, высшую красоту и благородство целомудрия, все это мне было дано в восприятии родины».

Можно сказать, самый колорит его духовной жизни сквачен в этих словах. Ум его, уже говорящий, мощный. Но не гордый, не «веческий», не забочающийся о первенстве и об оперении. Он лег-

ко выпускает чужую мысль, обвиняет ее прежде, чем высказаться от собственного имени. Публицистические статьи в виде рефератов, рефераты-эскизы внутри капитальных трудов — все это типично для стиля Булгакова-мыслителя. Он не боится показаться чернорабочим истины. В его творческом обли-

ке, при огромном напряжении умственных сил и присущей ему образной фантазии, есть канальто старинная полнотональность, не свойственная творцам Нового времени. Или даже анонимность — когда он брал на себя бремя редакционной, издательской, депутатской, лекторско-преподавательской, общественной, организационной и иной, так сказать, «заслуженной» культурной работы. Трудно найти человека, который, написав так много, столько глубоко и не преклоняющегося, был вместе с тем в такой значительной степени недоволен тем, что, чем-то другим — тягловой силой другой культуры.

И при этом, конечно же, отсутствие «жеста» (пресловутый «комплекс» князя Мышкина в «Идиоте»), невместимость мысли и души в законченные формы публичных высказываний, вечное недовольство изреченным. В 1913 году он писал своему младшему другу литератору А. С. Глинке-Волжскому: «В сущности, самое важное и нужное я так оставил <...> или невыраженным, или еле намеченным для себя. Здесь два мотива: один — стыдливость, обостренная еще общим, повальным отсутствием целомудрия (одни Мережковские чего стоят!). А другой — немощь <...>. Кроме того, языка, формы не имею...» Близко знавшая Булгакова в те же годы писательница и переводчица Евгения Казимировна Герцык, сестра поэтессы Аделаиды Герцык, к которой Сергей Николаевич испытывал особую духовную близость, так рисует его портрет: «По образу такой же, как большинство наших друзей, — между тридцатью и сорока — он казался моложе благодаря какому-то качеству, еще не переубившему в нем. Нас с сестрой забавляло его, которого за своего почитали разные владыки с наперными крестами, открывать какого-нибудь коштунного поэта, толковать Уайльда, музыку Скрябина, встречать внимательный, загорающийся взгляд его красивых темных глаз. Узкоплечий, несвободный в движениях, весь какого-то плебейского склада — прекрасны были у него только эти глаза». В сущности, близкие вещи пишет в молодости знакомый с Булгаковым искусствовед С. Н. Дурылин, глядя на картину М. В. Нестерова «Философы», где изображены С. Н. Булгаков и о. Павел Флоренский в 1917 году: «...темперамент сердца, преданного неустанным волнениям «проклятых вопросов» о смысле бытия, о сущности религии, о судьбе родины <...>. Что-то юное, что-то — хочется сказать — вечно студенческое в этом молодом уже лице русского человека из интеллигентной».

«Студент», «интеллигент», «плебей»... Душевная природа Булгакова, родственная природе его детства и его семейных корней, закаленная горестями мировых потрясений, просветленная священническим служением, уже три десятилетия спустя представляется величайшим даром, утрачиваемым образом аристократизма. Один из его духовных детей в эмиграции, критик В. Вейдле вспоминает о последних годах общения: «...всегда я любовался им и все чаще я думал: именно за него, за такого человека, как он, можно и должно — и главное, как хорошо было бы — отдать жизнь». И дальше находит слова предельного восхищения, среди них такие: «постоянное бодрствование, духовный подъем, врожденная высота всего его нравственного существа» — «царственность духа», «и злучене не добра». Эти слова некролога возвращают нас к началу — к «некречающей» благодарной скромности и правде, «высшей красоте», которую о. Сергей находил у своей колыбели, в качестве наследия. Круг жизни замкнулся. Она и была возвращением.

САМ БУЛГАКОВ не раз сравнивал путь своей жизненной деятельности с возвращением под отчий кров блудного сына евангельской притчи. А его ученик и последователь Л. А. Зандер в книге «Бог и мир» (капитальное изложение мирозерования Булгакова, т. 1—2, Париж, 1948) заключает, может быть, с некоторой поспешностью: «...Его увлечения и искания можно рассматривать как символические вехи в истории русской души, а его священство — как залог оценования русской интеллигенции...». Однако для характеристики Булгакова как философа важно подчеркнуть одну особенность этих увлечений и исканий, несколько отличающую его от «блудного сына», который, как известно, вернулся из «страны даловой» с абсолютно пустыми руками. Булгаков, порою хватывая, в каком-то смысле оставался им верен и в дальнейшем: преодолевал, но не оторвался. Ибо для него, поборника христианской культуры, чрезвычайно важно было — не отдавать Люциферу ничего из того, что может быть введено в ее круг. Ум Булгакова, рачительный ум (в этом смысле близкий складу Владимира Соловьева), противостоял всеобщему духу отречения, который составлял содержание современной эпохи: социальную демократию отделили от старого мира, религиозные мыслители — от мира нового, постлосовозрожденского, о «секулярной» цивилизации, либералы — от церкви, авангардисты — от классического искусства и т. д., то духу отречения, который на практике обернулся величайшим расточением мировых богатств.

Родившись в 1871 году в семье ливенского потомственного священника, скромного настоятеля кладбищенской церкви, Булгаков в ранней юности порвал со своей сословной средой и вместо полагающегося ему по традиции пути семинариста и затем «попа», закончив Елецкую гимназию, поступил в Московский университет. Булгаков сравнивает первый этап своей умственной жизни с тем выбором, который до него совершили другие «семинаристы» — Чернышевский и Добролюбов. Это было типично: интеллигентская «вера» больше платала просыпающийся ум, чем уроки «закона Божьего», а идеал «уделения народу» больше захватывал высшие

стороны души, чем схемы школьного богословия. И так, «...верой моей стало неверие...»

Основные вехи биографии Булгакова читатель может узнать из словаря «Русские писатели» (т. 1, М., 1989), но я позволю себе кое-что повторить и напомнить. Сразу же молодой Булгаков подчинил свои интересы нравственному императиву, для него так же характерно, как и неприятие любого внешнего ига: «Меня влекла область философии, философия, литературы, я же попал на юридический факультет в известном смысле для того, чтобы тем спасать отчество от царской тирании, конечно, идейно». В поисках целостного мировоззрения Булгаков становится марксистом (как и многие молодые интеллигенты, вступившие в общественную жизнь на волне разочарования в «экономическом романтизме» народничества), понуждает себя к занятиям политической экономией, пишет первые труды на экономические темы, стажировается за границей, а по возвращении защищает в Москве магистерскую диссертацию «Капитализм и земледелие».

Тут уже выделяются два типичных для мыслительной деятельности Булгакова обстоятельства. Еще и не помышляя о разрыве с учением Маркса, он немедленно нарушил покой социал-демократической ортодоксии: глядя на цифры, стал доказывать, что, вопреки мнению Маркса, мелкое крестьянское хозяйство не подпадает под закон концентрации производства, не становится целиком жертвой классовой поляризации и обещает сохранить свою жизнеспособность в условиях индустриального развития страны. Этот вывод навлек на него гнев Каутского, Ленина — по иронии (или какому-то стечению обстоятельств) Булгакова-бологовла тридцать лет спустя также выдвинул в эресь православных иерархов... Но молодой экономист остался верен своим выводам и в годы первой русской революции, уже в качестве христианского демократа и социалиста он защищает крестьянское хозяйство с нравственно-гражданской точки зрения: «Русская демократия будет прежде всего демократия крестьянская». Это во-первых. Во-вторых, на примере начальных публицистических и научных шагов и их последующей «отдачей» видна огромная плодотворность его ума, для которого ничего не пропадало втуне. Брак с политической экономией был браком по разуму, а не по сердечной склонности — эти мысли легли в основу его докторской диссертации «Философия хозяйства» (1912), книги-матрицы, с которой писалась все последующие его труды. Ине исключая и богословский его докторский диссертации «Философия хозяйства» (1917), книги-матрицы, с которой писалась все последующие его труды. Ине исключая и богословский его докторский диссертации «Философия хозяйства» (1917), книги-матрицы, с которой писалась все последующие его труды.

«ЛЕГАЛЬНЫЕ марксисты», к коим принадлежал молодой Булгаков, восприняли учение Маркса как последнее слово западной науки, от которой нельзя отставать в отсталой и без той стране. Поэтому немудрено, что отход от марксизма стал для Булгакова логическим следствием отхода от Запада, поразившего его во время заграничной поездки «межданским», плоскостным, бескрылым характером жизни. Это был особый путь Булгакова, отличный от движения к «идеализму» тогдашних его соратников — Н. А. Бердяева, П. Б. Струве, П. И. Новгородцева, путь, близкий к неославянофильскому, но не совпадающий с политической правдой.

Не меняя своих свободолобных взглядов, Булгаков стал поводить под них, по его формуле, «новый фундамент» — религиозно-этический. Быстро просочившись Канта, как промежуточную станцию, он переходит в общественную веру Достоевского и в особенности Владимира Соловьева. Между тем подоспел революционный время 1905 — 1907 годов, за которое,

признавался Булгаков, было им прожито «несколько жизней». Тут и издание левых, по тем меркам, журналов и сборников, и попытки создать христианскую партию социальной демократии — «Союз христианской поли-

тики», и — как финал пароксизма общественных начинаний — депутатская работа в Государственной думе второго созыва. Параллельно этим бурям шло шаг за шагом медленное, трудное возвращение в церковь. Это вызвало недоумение даже у религиозных искателей. Как совместить участие в освободительном движении, лихорадочную выработку его «программы» с приверженностью такому консервативному институту? Где-то Булгаков несерьезен — либо в одном, либо в другом. «Булгаков, когда был марксистом, был таким же хорошим провозником, как и теперь» — между тем у Булгакова в муках выкристаллизовывалась сквозная общественная тема всех будущих лет — возвращение церковного христианства «в общую запятанную историю». Вскоре он навсегда расстанется с планами организации христианской политической партии, но не откажется от социального христианства. Он полагал, что либеральные идеи времени без абсолютного нравственного основания выражаются в практический блок частных интересов (так критиковал он кадетов). Как бы ни был он мало понят, его выступление в думе по поводу неприятия закона революционного, так и правительственного террора произвело огромное впечатление на присутствовавших: по отзыву современника, он «сразу вырос во весь рост искренности, мужества, патриотизма и христианской любви». Вообще говоря, с речами и запросами Булгакова-дума было бы интересно познакомиться сегодня народным депутатам. «...В России должна создаться власть — носительница права, которая обладала бы моральным авторитетом» — эту чеканную формулу хочется повторить.

Революционные дни ужаснули Булгакова кровопролитием и ожесточением: «Нация раскалывается надвое, и в бесплодной борьбе расстраиваются лучшие ее силы». Завершившись для него эта жизненная полета участвует в сборнике «Вехи» (1909), где он выступил со статьёй о русской интеллигенции «Героизм и подвигничество»: дальнейшую судьбу России он ставил в зависимость от того, будет ли интеллигентский радикализм преодолен идеями церковной культуры, идущей от Тоголи и Достоевского. Надежда и славянофильство «...Оставляла надежда — вступил он в изгнание, и свободный от красной и черной сотни культурный центр». Культурный консерватизм, повсюду, верность преданию, соединяющаяся со способностью к развинутию, — таково было это залоное...»

Но тем временем углубляется, сосредоточивается, отвлекается от внешних «заданий» душа Булгакова. По-прежнему он безотказно тащит на себе трудную будничную просветительскую работу — в Московском университете, в Религиозно-философском обществе, в издательстве «Путь», но творчество его в это предосторбное десятилетие принимает системно-философский характер, становится ступенькой к «монументальному» (по выражению протодиакона А. Шмемана) булгаковскому богословию. «В современном человечестве... произошел какой-то выход из себя во вне, упряднение внутреннего человека», — замечает он, духовно противясь такому «упраднению» в своем личном бытии. Повороту внутрь способствовала дружба с о. Павлом Флоренским, мыслителем принципиально антиполитическим и «антимирским». — Дружба, которую Булгаков отдался со страстным восхищением и самозабвением, свойственным его негеродерливой психике. Тогда же постепенно укрепляется влечение к «алтарю», «изменником» которого он все острее начинает себя чувствовать (сан он принял в июне 1918 года, когда окончательным образом жизни московского близнецорного интеллигента из Большого Афанасьевского переулка).

В эти годы, помимо «Философии хозяйства», был подготовлен главный его собственный философский труд Булгакова, обнимающий «небо и землю», — «Свет Невечерний» (1917). Не случайно, вопреки идеям тревожащим военными лет, у книги «отрешенный» подзаголовок: «Созерцания и умозрения», не случайно и последние сочинения Булгакова, изданные на Родине, образовали сборник под названием «Тихие думы» (1919). Как «тихая дума», пришла в послевосхищенный умственный мир Булгакова идея Софии Премудрости Божией — от подвеса прочитанного в начале XIX годов Соловьева и зуре философских бесед с Флоренским; для мысли, идущей впереве, «просто необходимо было, чтобы определились пути его ума навсегда».

Восьмилетие между 1917 и 1925 годами, пока Булгаков, в конце 1922 года высланный в числе прочих идейных «чужеземцев» мыслителей из России, не нашел себе прибежища во Франции и жизненного дела — в учреждении Православного богословского института в Париже, можно было бы назвать этапом смирения и беженства, если бы не свойство булгаковской интеллектуальной энергии — даже в беде действенно плодотворность. С одной стороны — обыски и ожидание ареста в Москве, путь к семье, оставшейся в Крыму, через фронты гражданской войны, разлука с Родиною (и навсегда — с оставшимся здесь сыном Федором), маета в Константинополье, страшные «чадаевские» сомнения в исторической перспективе православия и России, стыд труженика за существование на «милостивую» чужеземцев. С другой стороны — участие во Всероссийском церковном соборе на нем патриарху Тихону, радость о всеобщем отрешении священств (надеясь духовное плыве, о. Сергей никогда его больше не снимал, несмотря на грозившие спервоначала опасности), вдохновенное участие в рождении нового общественного дела — русского студенческого христианского движения.

Парижский период для о. Сергия Булгакова — исключительно богословский. На эти темы он пишет две

трилогии: «малую» — об Иоанне Предтече, Богородице, об ангелах как живых «идеях» (в платоническом смысле) мироздания, и «большую» — в пределах этой особой сферы мысли — остропроблемную, с общим «соловьевским» названием: «О Богочеловечестве». В текстах литургической поэзии, атмосферной которой он дышал на богослужении, он находит для себя новый образный язык и чрезвычайно вырастает как «художник понятий», как писатель, «прежде «бессильно старавшийся от внутреннего пламени». Вместе с тем он ведет характерную для него беспокойную жизнь общественного деятеля, активнее работающая в экуменическом (церковно-общедвиженном) всемирном движении, которому он, в духе общих своих взглядов, придает социально-космический аспект — «земное строительство навстречу небесному».

ЦЕНТР творчества Булгакова, место стяжения всех его нитей — учение о Софии стало для него также и истинным страданием, ибо поддало в 30-е годы под осуждение епископов русской Зарубежной церкви и православного Синода в Москве. (Правда, церковный раскол не позволил суммировать отрицательные оценки в качестве общеправославного оценочного мнения.) Не вдаваясь в этот специфический вопрос, мы, однако, можем попытаться объяснить жизненно-философский нерв «заподозренного» учения.

«...Над долгием миром реет гонимая София, просвещая в нем как разум, как красота, как... хозяйство и культура» — всю последующую жизнь Булгаков утучнял и развивал эти слова, найденные им к 1912 году. Перед ответственным мыслителем в XX веке не может не встать вопрос о ценности мира. Задолго до того, как нашу землю оказалось доступно целому уничтожить новым оружием, уже никто не мог, а главное, не хотел поучиться за ее сохранность по частям — за нации, классы, природные уголки, виды животных, города и веси. Мир стал как бы не нужен ни старым религиям, ни новым идеологиям, он отдавался в добычу либо примитивной жадности, либо великому взрыву. С началом века близилась, прокатывалась уже все более мощные судороги самоуничтожения. Булгаков вернулся к вере, стал профессиональным, в церковном мыслителе, конечно, в силу глубоко интимного душевного процесса, а не из утилитарных соображений мировой пользы. Но ему была вродена характерная для русского философа гения интуиция красоты как самосвидетельства мира о собственной ценности.

В этом пункте он, действительно, ближайший последователь Достоевского и Соловьева. Однако, подчас, которые вызвали у него «созерцание природы, любовь, искусство (Булгаков рассказывает об этом, исправляя кусочки своей мысли, философские, поэтические тексты «Света Невечернего»), он, став христианином, отказался признать иллюзию, сблезаном, маревом, застывшим путем к ценности, которая в рамках церковности метафизически обосновывает такое христианство, которое не только спасает от «мира», от «бесчеловечности» природы, но и спасает мир, беря на себя за него ответственность. А мир тот стоит, по Булгакову, уже «весь пронизан совместными энергиями, ибо каждая вещь, каждая существовавшая черта земного бытия (пол, семья, род, нация, творчество) не является пустой вещественной оболочкой, имеет, так сказать, свой пролог на небесах, свой горный первообраз, идеальный замысел в Боге: всевидный Иероним, «идеальный «план» мирового целого, его предвечная Красота и гарантия его надвременной ценности».

В социологии Булгакова, даже независимо от того, будем ли мы считать его подлинным прорезем мифопоэтического уклонения христианства или мистифицированным выражением огромных исторических нужд, таится изначальное отношение к преходящей жизни сочетается с пафосом повторения ея и ее сбережения. Любовь к миру не как к истинному «удовлетворению потребностей», а как в бесценном художественном творении, любовь, предполагающая аскетизм, самоотречение, изживание vampirского синдрома нынешней цивилизации, — вот практические выходы булгаковской социологии, суть предпринятого им «догматического обоснования культуры». Земля не уничтожится, а преобразится, и в это преобразование, вопреки своим падениям, вкладывает силы человечество, получает «христианский импульс в историю», — так толковал Булгаков эсхатологическую доктрину, учение о финальных судьбах мироздания.

ПРЕДСМЕРТНЫЕ годы, итожащие жизнь, освещают о. Сергия трагическим огнем и «невечерним» светом. В 1939 году он переносит мучительную операцию по поводу рака горла, преодолевает ад умирания; лишившись голоса, а следовательно, и служб, и лекций, он, однако, овладевает техникой речи без голосовых связок и возобновляет то, и другое. Последовала война, оккупация Франции, вести о гибели неогромного множества невинных людей, и философа, сердцем чувствующего себя в средоточии этих безмерных бедствий, снова охватывает жажда найти «ключ к историческому шифру», оправдать PROVIDENCE и высечь искру надежды. В ответ на вызов нацистской идеологии он в занятом немцами Париже принимает за главный труд «Разизм и христианство» (1942, сейчас на Западе началась публикация этой рукописи), в котором защищает от поглощения принципом «расы» и «крови» первородность человеческой личности; самые напряженные мысли его сосредоточены на «еще не явленных и неразгаданных судьбах России» и исполненной поляричных противоречий участи еврейства: «страшные и роковые судьбы обоих народов, каждая по-своему, знаменуют их исключительное значение <...> в жизни всего человечества...». И, наконец, он приступает к выписке из курса лекций толкования Апостолова, укрепляя свое мужество проникновением в древние пророчества. Последние мысли о. Сергия Булгакова — о христианской культуре эпохе в благом «конце времен». Позднее, что, как можно догадаться, отразилось на его чудесно просветленном лице в часы смерти, когда летом 1944 года он уже без сознания лежал в параличе, — видение преображенного мира.